



ИВАН
ШМЕЛЁВ

ЛЕТО
ГОСПОДНЕ

Москва

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445
Ш72

Оформление обложки *Владимира Ноздрина*
Серия «Книги для души. Православная библиотека»

*Выпуск произведения без разрешения издательства
считается противоправным и преследуется по закону*

Шмелев, Иван Сергеевич

Ш72 **Лето Господне: роман / Иван Шмелев.** — Москва: Издательство АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2021. — 480 с. — (Книги для души. Православная библиотека).

ISBN 978-5-17-145477-7

В замечательной книге Ивана Шмелева «Лето Господне» перед читателем предстает увиденный глазами ребенка старый московский быт, раскрывается мир русского человека, жизнь которого проникнута православным духом и согрета христианской верой.

«Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой.

В произведении чрезвычайно полно и глубоко воссоздан церковно-религиозный пласт народной жизни. Смысл и красота православных праздников, обрядов, обычаев, остающихся неизменными из века в век, раскрыт настолько ярко и талантливо, что роман стал подлинной энциклопедией жизни русского православного человека.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

ISBN 978-5-17-145477-7

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин

Наталье Николаевне и Ивану Александровичу
Ильиным посвящаю.

Автор

ПРАЗДНИКИ



ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Чистый Понедельник

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном — как плачет. Старый наш плотник — «филенщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, назолоченый пряник «масленицы» — игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, — пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», — Горкин вчера рассказывал, — «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться.

— Косого ко мне позвать! — слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, — редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощенный день. И Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках — «всех прощаю!». Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, — священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... — так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

— Вставай, милок, не нежся... — ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. — Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел Пост — отгрызу у волка хвост. На Постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут — «душе моя, душе моя» — заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий Пост. И Горкин совсем особенный, — тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, — чистый сегодня понедельник! — только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намазать голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие — угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он засушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай — «за сахар».

— А почему папаша сердитый... на Василь-Василича так?

— А, грехи... — со вздохом говорит Горкин. — Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то! Читай — «Господи-Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

* * *

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, — по субботам он сам зажигает все лампадки, — всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е... Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа растает с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет — «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.

— Потому они чувят, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дожждаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни... по-мни!.. — поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни... по-мни... Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь

по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина, — «Красавица на пиру», — закрыта простынею.

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится — такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то — «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий Пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, — великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное

молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и т а м, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, — весь двор завалят. Поедем на Постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

— Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна — Б о г.

* * *

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топают. В такой-то день! Это он на Василь-Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», — и притаиваюсь за дверь. Я вижу в щелку широкую спину Василь-Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, — злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

— Пьяная морда! — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. — И посеичас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями, прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван-приказчик? Мешок с вырубкой потерял... на триста целковых! Спасибо,

старик-извозчик, Бога еще помнит, привез... в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

— Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с... в баню ходил-парился... чистый понедельник-с... все в бане, с пяти часов, как полагается... — докладывает, нагибаясь, Василь-Василич и все отгалкивает кого-то сзади. — Посчитайте... все сполна-с... хозяйское добро у меня... в огне не тонет, в воде не горит-с... чисто-начисто...

— Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катали? От квартального с Пресни записка мне... Чем это пахнет? Докладывай, как было.

— За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда... ошибся... ради хозяйского антиресу. К ночи пьяные навалились, — катать! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат — жоще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал... ну, выпивши маленько...

— А ты, трезвый?

— Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был... А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники... с блинами на горы приезжали, и с кулками... Очень я им пондравился...

— Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври...

— Забрали меня силом на дилижан, по-гнал нас Антошка... А они меня поперек держут, распорядиться не позволяют. Лети-им с гор... не дай Бог... вижу, пропадать нам... Кричу — Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать... да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место... с кулак нажгло-с... А там, дураки, без моего глазу... другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел... ну, тоже маленько для проводов масленой не вовсе тверезый... В нас и ударило, во семь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в дни-

ще наше ударили, пробили, а народ только пораскидало... А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побил... лежали мы на льду, на самом на ходу... Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу... и ему солянки велел подать... и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий Пост, чтобы было тихо и благородно... все веселения, чтобы для тишины.

— Антошка с Глухим как, лежат?

— Уж в бане парились, целы. Иван Иванович фершал смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался был я, без памяти оба вчерась лежали, от... сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да... голову мне поранило о дилижан, память пропала... один мешочек мелочи и забыл-с... да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

— Ступай... — упавшим голосом говорит отец. — Для такого дня расстроил... Говей тут с вами!.. Постой... Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять... двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощенье просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь-Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь — войти? Скриплю дверь. Отец, в сером халате, скучный, — я вижу его нахмуренные брови, — считает, деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна

в столбиках. Постукивают счеты, поцокивают медяки и — звонко — серебро.

— Тебе чего? — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники... Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.

В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты, — «от угара». Плотники, сходимшие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:

— ...и вси... свя-тии... ангелы с Ним.

Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов... — и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

— Ох, кваску бы... огурчика бы...

А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:

«Идите от Меня... в огонь вечный... уготованный диаволу и аггелам его!..»

А часики, в тишине, — чи-чи-чи...

Я тихо сажу и слушаю.

* * *

После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен, — я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефи-

монам рано. Василь-Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает... А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает — ни слова.

— А за что изругали! — уныло говорит он мне, смотря на крыши. — Расчет, говорят, бери... за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки... с мальчишек... Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот... расчет! Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит...

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь-Василича.

— Василь-Василич! — слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. — Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

— Какие есть — все ваши, а чудесов тут нет, — говорит в сторону, и строго, Василь-Василич. — Мне ваши деньги... у меня еще крест на шее!

— А ты не сердчай, чучело... Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.

— А так, что вчера ломились на горы, масленая... и задорные, не желают ждать... швыряли деньгами в кассью, а билета не хотят... не воры мы, говорят! Ну, собирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные... ну, пятерку пропили, может... только и всего. А я... я вашего добра... Вот у меня, вот вашего всего!.. — уже кричит Василь-Василич и враз вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца.